

Юлия Александрова
Собачий **вальс**



Юлия Александрова

Собачий вальс

«Автор»

2013

Александрова Ю.

Собачий вальс / Ю. Александрова — «Автор», 2013

Герои этих рассказов обычные люди, прохожие, которых вы можете встретить где угодно: на одном из мостов Петербурга, на лавочке возле Патриарших прудов в Москве, в аэропорту любого города мира. Встретившись с ними глазами, вы никогда не узнаете, какие страшные тайны они хранят, какие нелёгкие жизни им выпало прожить и какие преступления они совершили. Как музыкальное произведение откроется перед читателем целый мир "обыкновенных" историй, и только он один будет вправе судить этих героев и их поступки.

© Александрова Ю., 2013

© Автор, 2013

Юлия Ален
Собачий вальс



Юлия Александрова

СОБАЧИЙ ВАЛЬС

Рассказы

ИД «Комильфо»

Санкт-Петербург

2013

ТОККАТА И ФУГА РЕ-МИНОР (BWV 538)

I

Мне никогда не нравилось заниматься музыкой. Нет, я тринадцать лет прилежно играла на фортепиано, разучивала новые произведения, оттачивала старые и училась на одни пятёрки. Мама обожала, когда я ей играла, а я не могла позволить себе её огорчать. Сначала – потому что немного любила, потом – потому что немного жалела. Одинокая женщина, всю жизнь посвятившая мне, послушной дочери, которая обязательно станет великой пианисткой. Она свято верила, что понимает мои желания и разделяет интересы, мне же не хватало духу признаться, что на самом деле музыка меня не слишком занимает. Когда мама, измотанная на трёх работах, выцветшая, с потухшим взглядом и страдальческой улыбкой на лице, садилась вечером в старое кресло у окна единственной нашей комнаты и просила смиренным, безропотным голосом: «Светочка, сыграй мне что-нибудь», я без разговоров подходила к инструменту. Я не могла ей отказать. Как только я брала первые аккорды, мамини глаза начинали светиться, наполняясь вязкими старческими слезами, и она робко покачивала головой в такт музыке. Что и говорить, я далась ей трудно, поэтому в пятьдесят лет она уже выглядела совершенной старухой. Но я была хорошей дочерью или, если соблюдать точность формулировок, умела ей быть. Играть я тоже умела: в безупречном ритме, соблюдая нужные оттенки и интонации, с выверенными до доли секунды ферматами и паузами.



Мама особенно любила Шопена. Своим юношеским пылом и наверняка вздорным характером он как нельзя лучше подходил маминой подавленно-романтической натуре: минорные пассажи и утончённая сдержанность его ноктюрнов и экспромтов были в её вкусе. Учащиеся музыкальных школ не часто играют Шопена: чересчур много нот, – но я играла, потому что была потрясающе технична, гоняла пальцами по клавишам с головокружительной скоростью, словно заведённая, и учила произведения наизусть на раз-два-три. Сама я не любила Шопена. Надо признаться, я никого из них особенно не любила, а лишь грамотно исполняла всё, что написано в нотных текстах, и, играя, ни о чём не думала и ничего не пыталась выразить. Пожалуй, мне нравился Бах с его чёткими противосложениями и кадансами¹. Мне импонировало то, что он не жаловался и не ныл в инвенциях, фугах и прелюдиях, а был предельно ясен, строг и лаконичен. Но даже он не смог вызвать у меня хоть какое-то подобие любви: да, пальцы по-особенному слушались, когда я открывала ХТК², но меня это не удивляло. Так было со всеми и всегда.

Как музыкальный автомат, я не ошибалась и делала то, чего хотели от меня преподаватели. Никакой рваности в рубато³? Не волнуйтесь, не будет. Где гармония рации и эмоцио? Да вот же она, держите. Глубокий доминантсептаккорд, а потом бурный пассаж левой? Ну, это вообще раз плюнуть. Я запоминала всё досконально, могла играть с закрытыми глазами, в любом темпе и при любом стечении обстоятельств: ночью, днём, вечером, на любом инструменте, не капризничая и не испытывая ни малейших чувств к исполняемой музыке. При этом я сдержанно, но необыкновенно убедительно подыгрывала себе лицом и телом, отчего меня ценили за артистичность. Как-то раз, когда мне было лет двенадцать, о моём выступлении написали в местной газете: «Девочка-пианистка растрогала до глубины души группу ветеранов на концерте, посвящённом дню Победы, когда с изумительной простотой и лёгкостью сыграла “В лесу прифронтовом”». Странно, что, привыкшая наблюдать мамины слёзы, я сама ни разу в жизни не плакала, так как не видела повода; научилась виртуозно притворяться лет в десять-одиннадцать и не чувствовала потребности в душевной близости с кем бы то ни было. Мне было всё равно. Неизменно одна: ни друзей, ни хороших знакомых, ни даже собаки, – я с утра до вечера упражнялась на фортепиано, потому что этого хотела моя мама. Мне казалось, что так я сделаю её счастливее. Зачем? Да просто так. Думаю, она что-то для меня значила, раз я так долго для неё играла. Вот и на выпускном экзамене в музыкальной школе я, к восторженной радости моей высохшей от забот мамы, блестяще исполнила, в числе прочего, её любимый шопеновский «Революционный этюд» до-минор.

Экзамены и конкурсы, кстати, стали моим любимым времяпрепровождением в музыкальной школе и училище по причине того, что на них я была освобождена от необходимости слушать остальных учеников, терзающих клавиши инструмента. Я могла войти, отыграть программу, а потом спокойно сидеть за дверью в ожидании оценок или результатов. Другое дело – отчётные концерты. Они казались мне настоящей пыткой, особенно поначалу, пока я не ощутила в себе то ровное, молчаливое спокойствие, которое обеспечило мне надёжную защиту от окружающих. Но даже годы спустя отчётные концерты подымали во мне волну раздражения. Притихшие дети в белых блузках и рубашках с галстуками, нервно ёрзающие на своих стульях. Они постоянно скрипели, шуршали, покашливали и сморкались. То же самое делали их родители: шелестели обёртками букетов и побряхтывали, когда играл кто-то другой, и замирали по стойке смирно, вытягивая шею и тараща глаза, когда за инструмент садилось их чадо. Как мне не нравилась игра этих детей! Они то и дело сбивались, путали ноты, ввалили темп и не выдерживали пауз. Первые несколько лет музыкальной школы на отчётных концертах меня успокаивало лишь финальное выступление учителей, но после и учителя начали вызывать у меня раздражение своей небрежностью и фальшивым артистизмом. Они так развязно раска-

чивались перед роялем, изображая вдохновенный восторг и удовольствие, что мне хотелось закрыть глаза и уши. Под хорошо исполняемую музыку я могла тихо ни о чём не думать, но когда играли плохо и неумело, я была не в состоянии расслабиться.

Меня считали талантливым ребёнком. В музыкальное училище я поступила без экзаменов как лауреат областного конкурса юных пианистов; училище окончила с отличием, и мне предложили поступать в консерваторию в Петербурге. Я благополучно отучилась два года, по-прежнему не вылезая из-за фортепиано круглые сутки: наверное, по привычке. Консерваторские занятия не поразили меня ни новизной, ни сложностью. Мне кажется, там мог бы учиться даже глухой. Сборище таких же, как я, юных дарований, которые бездельничали, высокопарно разговаривали о музыке и ещё более высокопарно – о себе.

В конце третьего курса меня исключили за неуспеваемость. Пожалуй, я была единственной студенткой консерватории, которую выперли по такой причине. В один прекрасный день я просто перестала туда ходить. За два с половиной года в Питере образ моей вечно несчастной мамы, которая так любила, когда я ей играла, окончательно померк, и занятия музыкой потеряли для меня какой-либо смысл. Преподавательница пыталась уговорить меня взять академический отпуск, отдохнуть и вернуться к учёбе, монотонно увещевала и убеждала, рисуя в ярких красках прекрасное будущее выдающейся пианистки. Я не сказала ни слова против, но сделала по-своему. У неё не было слезливых жалобных глаз мамы, поэтому она ни в чём не смогла меня убедить. Я забрала документы и нашла работу.

Работа, честно говоря, была не ахти: я устроилась администратором в гостиницу. Звучит неплохо, но на деле выходило совсем по-другому. Управляющая гостиницей, Изабелла Васильевна, молодящаяся дама лет пятидесяти на тонких каблучках, быстро смекнула, что такая сотрудница ей пригодится. Я могла работать без усталости и молчать, и даже то, что меня выставили из консерваторского общежития, не стало помехой трудоустройству. Изабелла Васильевна вообще не брезговала брать на работу приезжих: безотказных девушек без прописки и регистрации, но с благодарностью в глазах за то, что их взяли. Все горничные и уборщицы с трудом понимали по-русски и были по-собачьи преданны своей начальнице. Изабелла Васильевна окружала их почти материнской заботой и вниманием, помнила по именам, не уставала каждую похвалить и потрепать по щёчке. Зарплату платила копеечную, но за любезными улыбками никто этого не замечал. Кстати, увольняла она без колебаний и с той же лучезарной улыбкой: за малейшую провинность, опоздание или даже косой взгляд. Мне очень живо представлялось, как она, будучи из каких-нибудь красных кхмеров или военной хунты Пиночета, под приятную музыку и с милым выражением лица пытается заключённых, заботясь лишь о том, чтобы не порвать свои новые колготки сеточкой и не испачкать замшевые туфли кровью. Работа, как она говорила, должна приносить удовольствие.

Тем не менее, мне нравилась Изабелла Васильевна: именно отсутствием угрызений совести и прочей рефлексирующей ерунды. Я ей – тоже. Думаю, она сразу увидела во мне родственную душу. Как-то по взгляду или по строению черепа. Я где-то читала, что у лгунов чёрные глаза, узкая верхняя губа и острый подбородок. Мы определённо были с ней похожи, и внешне, и внутренне. Мы обе являлись мастерами притворства, довели его до пределов совершенства и упивались им, с той лишь разницей, что она выбрала личину «доброй тётушки-хохотушки», а я – «тихой девушки из провинции», которая способна завоевать мир преданностью и трудолюбием. Но я была изощёрнее в своём вранье, а моё спокойствие и способность ничему не удивляться вызвали неподдельное восхищение даже у Изабеллы Васильевны.

– Ты умница, Светик, – любила говорить она, ласково похлопывая меня по плечу. – У тебя личико как у фарфоровой куколочки. Ни одной мимической морщинки! Все посмотрите на Свету, девочки, и учитесь у неё. Улыбаемся одними губками, иначе через десять лет вас и мама родная не узнает! Глазки широко открыты и светятся, но не щурятся. Вот так.

Она демонстрировала очаровательную белозубую улыбку, и глаза на слегка увядшем, но по-прежнему красивом лице оставались широко открытыми и ни в одном месте не были подернуты паутиной морщин. Для своего возраста она, действительно, очень неплохо выглядела: подтянутая, с тонкими ногами, высокой грудью и короткой стрижкой на тёмных волосах. У неё не переводились молодые любовники: то из поваров, то из портье – ей было что им предложить. Я вела документацию отдела кадров, и поэтому непременно знала, кто из них попал у Изабеллы Васильевны в немилость, а с кем отношения возобновились: первых приходилось спешно увольнять, вторых – принимать обратно в штат. Не пропускала она и командировочных, которые в большом количестве останавливались в нашей гостинице. Изабелла Васильевна любила мужчин, ей нравилось окружать себя ими, флиртовать, кокетничать, глупо хихикать и закатывать глаза, ей было необходимо постоянное, пускай и не особо искреннее, внимание и восхищение. Я быстро смекнула, чего ей хочется, и даже она, опытная обманщица и лицемерка, в конце концов, повелась.

– Далеко пойдёшь, милочка, – часто говорила Изабелла Васильевна в самом начале нашего знакомства и хитро подмигивала в ответ на мои осторожные комплименты о её внешности, чертах характера и деловых качествах.

Я не отступала. Лесть – беспроегрышная стратегия, если пользоваться ей умело. Перед лестью не могут устоять ни самые закоренелые циники, ни самые умные доктора наук. У меня не было корыстной цели. Я тринадцать лет играла на фортепиано для мамы просто потому, что ей это нравилось, и в отсутствие мамы я нашла для себя человека, которому могла быть полезной. Не имея собственных желаний, я привыкла исполнять чужие и находила в этом некоторое удовольствие. В Изабелле Васильевне я увидела женщину, угодить которой не составляло труда – мне даже не приходилось упражняться на инструменте по несколько часов в день. Всё, что от меня было нужно, так это вовремя приходить на работу, аккуратно вести записи и неизменно замечать как обновки Изабеллы Васильевны, так и малейшие перемены её настроения. Она оказалась уравнением с одним неизвестным, и через пару месяцев перестала смотреть на меня с подозрением. В зарплате я не выиграла, да и не старалась, но получила временную регистрацию и переехала в просторную комнату на улице Некрасова, которая, по договорённости с одним из приятелей начальницы, мне ничего не стоила. Польза бесспорная, и в целом Изабелла Васильевна обходилась мне меньшими жертвами, чем мама, потому что не требовала к себе жалости, которая изматывает изнутри, заставляя расходовать душевные силы, а довольствовалась вниманием, которое с лёгкостью можно изобразить лишь снаружи.

В общем, мне нравилась моя новая жизнь. Маме я врала, что учусь в консерватории, Изабелле Васильевне, – что необычайно ей признательна за заботу. Меня всё устраивало. До тех пор, пока начальница не прознала о моём музыкальном образовании. Её чуткие ушки подслушали телефонный разговор с мамой, и в мои обязанности, помимо бухгалтерии и ведения документации отдела кадров, были включены ежевечерние музицирования на усталом пианино в ресторане гостиницы. Я безропотно играла Вивальди, Моцарта, Гайдна и Бетховена для подвыпивших командировочных, которые заказывали дополнительный графинчик водки и закусывали обжигающую прозрачную жидкость сосисками с горчицей, отбивными и шницелем. Тогда мне перестала нравиться тихая гостиничная жизнь: я не для того бросила консерваторию, чтобы ублажать жующих провинциальных инженеров и менеджеров. Они не были благодарными слушателями, как моя мама; они любили мелодии из «Семнадцати мгновений весны» и «Розовой пантеры». Наверное, рано или поздно я ушла бы сама, но неожиданно, с неубедительным sforzando⁴ появился Толик. Наша первая встреча состоялось одним воскресным вечером в октябре, накануне моего дня рождения.

Толик подошёл к пианино, когда я доиграла «Серенату» Шуберта из цикла «Лебединая песня» 1828 года.

– Чудесно играете, – сказал он, склонившись над клавиатурой, душистый и липкий, словно леденец на палочке. – И не скучно вам здесь?

Глаза у Толика были рыбы: мутные и слегка навывкате. Светлая, с прожилками кожа, но не приятной бледности, какая встречается порой у рыжих и блондинов, а с желтоватым отливом. Дряблые щёки с провалившимися носогубными складками, мягкий нос, пористый, как губка, волнистые русые волосы и щегольская есенинская чёлка наискосок. Стареющий мальчик лет сорока с небольшим – жалкое зрелище. Бежевый свитер широкой вязки и светло-коричневые брюки как нельзя лучше подходили блёклому внешнему виду Толика и делали его похожим на вафельную трубочку со сгущёнкой. Ну, или эклер, а у меня с детства аллергия на сладкое.

Я ничего не ответила на вопрос, а лишь пожала плечами. Толик сладко улыбнулся, обнажив мелкие, такого же цвета, как свитер, прокуренные зубы и поставил на пианино сумку-барсетку. Я отвернулась, он же бесцеремонно изучал меня взглядом пустых невыразительных глаз и вертел на указательном пальце ключи от машины с брелоком в виде значка «Мерседес». Тогда, в день нашего знакомства, Толик ещё не знал, что меня очень трудно смутить, и принял нежелание смотреть в его сторону за застенчивую капитуляцию немногословной провинциалки. Я выдержала паузу, вежливо намекая всем своим видом, что разговор окончен, но он меня не понял. Тогда я, не обращая на него внимания, продолжила играть Шуберта, на этот раз – вальс си-минор в переложении для фортепиано.

– Ну что ж, я думаю, мы с вами обязательно поболтаем как-нибудь в другой раз, – не унимался Толик, неохотно отделяясь от пианино и одарив меня на прощание карамельной улыбкой. Я коротко кивнула головой.

С Толиком мне, действительно, вскоре пришлось познакомиться поближе. Даже чересчур близко. Он оказался приятелем Изабеллы Васильевны и регулярно вёл с ней простые, необременительные дела. Дела эти заключались в следующем: Толику время от времени требовались сотрудницы на нелегальной основе, которые могли работать без трудового договора и за незначительное вознаграждение. Для исполнения подобных обязанностей прекрасно подходили наши горничные, уборщицы и мойщицы посуды, которые не брезговали никакой работой и не бежали к адвокату или в налоговую службу с жалобами, если им вдруг не выплачивали зарплату. Уверена, что Изабелла Васильевна получала неплохую долю прибыли от подобных устных сделок, иначе она не стала бы связываться с Толиком, как бы очаровательно он ей ни улыбался. Любовником он был совершенно бесцветным, под стать внешности: шумно сопел, утыкаясь носом в подушку, совершал множество суетливых монотонных телодвижений и не знал, куда девать руки, – в дальнейшем мне не раз представлялась возможность в этом убедиться. Изабеллу Васильевну, при её богатом выборе, он вряд ли мог заинтересовать – она любила, чтобы было красиво.

Через несколько дней Толик объявился вновь, благоухая ароматом ванили и сандалового дерева, со светло-жёлтой пожухлой розой в руке. Он угостил меня жидким кофе из гостиничной кофемашины и принялся расспрашивать о моём семейном положении, жилищных условиях и занятиях музыкой. Я рассказала ему то, что считала нужным, не вдаваясь в подробности. Да, занималась музыкой достаточно серьёзно, да, бросила, потому что не видела перспектив, и да, моя нынешняя работа мне нравится, потому что Изабелла Васильевна – чудесная женщина и я очень многим ей обязана. После кофе Толик долго шептался с начальницей в фойе и, уходя, заговорщицки подмигнул, когда заметил, что я провожаю его взглядом. Изабелла Васильевна подошла ко мне в тот же вечер.

– Светик, ты поработай с Толиком, – тихо и очень настойчиво сказала она, – четыре раза в неделю, после пяти. Начнёшь завтра. Он хорошо тебе заплатит.

Я не стала задавать лишних вопросов и без уговоров согласилась. Если просят сыграть глубокий доминантсептаккорд, а потом – бурный пассаж левой, то нужно сделать именно так, а не иначе. Тогда не возникнет необходимости повторять всё сначала. В любом музыкальном

произведении меня интересовало исключительно то, чем оно, это произведение, закончится, поэтому ещё со школьных времён я предпочитала читать нотные тексты с листа, а не отрабатывать программу. Построенные по непреложным законам гармонии, большинство музыкальных пес предсказуемы, хотя порой встречаются интересные повороты.

Толик заехал за мной около пяти часов следующего дня. При виде его во мне проснулось ощущение тревожного ожидания, необычайно приятное и щекочущее кончики пальцев. Я не торопилась выяснить, куда я направляюсь и что меня ждёт. Подобная неизвестность была для меня внове, и я даже улыбнулась: так мне было хорошо.

– Нужно будет немного поиграть для одного старичка, вот и всё, – мило улыбнулся Толик, когда остановил машину на Набережной реки Мойки, недалеко от Дворцовой площади.

Я последовала за ним по плохо освещённой лестнице с широкими низкими мраморными ступенями и уходящими ввысь потолками. Потрескавшиеся барельефы, лепнина, едва уловимый запах тления и гулкая тишина – парадная была чистой и опрятной. Глухие металлические входные двери на лестничных клетках стояли, как часовые, с угрожающе-молчаливым видом, и лишь на площадке третьего этажа красовалась старая двустворчатая деревянная дверь с рядом чёрных кнопок звонков на покрытых известью перекрученных проводах. Дверь была высокая, рельефная, с перекладинами и форточками наверху, состарившаяся и потрескивающая.

Толик позвонил во второй сверху звонок, и мы долго и томительно ждали, прежде чем за дверью раздалось медленное шарканье неторопливых стариковских ног. Щёлкнул замок, второй, третий, и в дверном проёме показалось лицо: крупное мужское лицо в глубоких продольных складках морщин и с крошечными злыми глазками под нависающими бровями. Ссохшиеся губы с запёкшейся слюной в уголках кривились в брезгливой ухмылке. Старик молча и с подозрением нас разглядывал, скрипуче почёсывая покрытую серой щетиной щёку.

– Павел Львович, разрешите вам представить вашу новую компаньонку. Светлана, будет приходить к вам четыре раза в неделю, – Толик одновременно вытянулся и скукожился: ну точно, эклер недельной давности, который высох за стеклом прилавка, так и не дождавшись своего покупателя.

«Слово-то какое выдумал, компаньонка!» – подумала я. Старик быстро, по-кошачьи повернул голову в мою сторону. Он неторопливо осматривал меня, двигаясь взглядом снизу вверх, словно боялся пропустить что-то важное. Я почувствовала непреодолимое желание оскалиться во весь рот, чтобы показать ему зубы, как заставляли делать, кажется, рабов-негров в Северной Америке. Когда он дошёл до лица, я заглянула в его колючие настороженные глазки, полные недоверия и насмешки. Враждебно настроенный, но заинтересованный, он смотрел не отрываясь, словно хотел просверлить меня насквозь. «А старичок-то совсем не прост», – помню, подумала я, но взгляд не отвела. Как я уже говорила, меня трудно смутить.

Старик сдался первым. Он кашлянул в кулак и попятился в сторону, приоткрывая дверь чуть шире.

– Заходите, внутри поговорим, – голос тонкий, надтреснутый, неприятный такой тенорок, визгливый, как у старой нищенки.

Толик птицей влетел в прихожую, я вошла вслед за ним. Старик методично запирает дверь, проворачивая замки непослушными скрюченными пальцами. Замков было три и вдобавок – большая щеколда в самом низу, у пола. Когда старик, кряхтя и посапывая, наклонился, чтобы до неё дотянуться, Толик, окрылённый «гостеприимством» хозяина, бросился помогать. Но не тут-то было!

– Иди!.. Отойди прочь, я сам! – старик огрызнулся как дворовый пёс, у которого попытались отобрать кость. Толик отпрыгнул, словно его кипятком ошпарили, но продолжал услужливо смотреть на старика, вздрагивая обвисшими от огорчения щеками.

– Павел Львович, нам здесь разуться? Куда вы уличную обувь ставите? – не унимался Толик. Я видела, что он волновался так, как будто впервые в жизни сдавал экзамен по соль-

феджио, где нужно писать диктант со слуха, которого у него нет. Я пока не совсем понимала причину волнений Толика, но меня это забавляло.

– Да где хотите, там и ставьте, – старик зашаркал вглубь квартиры, и мы пошли вслед за ним.

Тёмная прихожая была захламлена громоздкими коробками, стопками вещей, старыми чемоданами и пачками ссохшихся пожелтевших газет, перевязанных бечёвкой. В ней пахло пылью, ветошью и штукатуркой. Запах был такой густой, что щекотал нос. Из прихожей мы попали в узкий коридор с обшарпанными зелёными обоями и облупившимися дверями. Идти пришлось почти на ощупь; пол ласково покалывал ступни и пружинил под ногами как живой. Слева оказался ещё один коридор, поменьше, который вёл на кухню. Краем глаза я заметила на столе, покрытом клеёнкой, почерневшую от накипи кастрюлю и гранёный стакан в подстаканнике. Старик мне не понравился сразу, но его квартира, такая пыльная, шероховатая и затхлая и, в то же время, уютная, с потрескиванием и шорохами, произвела на меня удивительное впечатление. Она будто обещала рассказать тысячу историй, обрадовавшись гостям, и жаловалась на старика, который мучил её молчанием. Этот сморщенный от злобы мухомор не мог быть частью квартиры, он наверняка обманул парочку доверчивых соседей, чтобы заполучить её – я была в этом уверена.

Тем временем старик дошёл до больших, во всю стену, двустворчатых дверей и с усилием их распахнул, словно это были врата в Тронный зал. Я привыкла ничему не удивляться, но от того, что предстало перед нашими глазами, у меня на мгновение перехватило дыхание. В огромной комнате с пятиметровыми потолками, на которых сохранилась лепнина, с орнаментами на стенах и дубовым паркетом на полу, залитый светом из четырёх громадных от пола до потолка окон, стоял рояль. Один рояль, и ничего больше.

– У меня супруга покойная часто играла, очень музыку любила, – прокаркал старик и перевёл хищный взгляд на меня. – Анатолий говорил, ты играешь? Ну, садись, изобрази что-нибудь.

Тон хозяина квартиры покорибил меня с самого начала, ещё на лестничной площадке. Теперь, когда мы с Толиком оказались в его владениях, старик вовсе перестал себя сдерживать и властно распорядился мной, как служанкой. Менее стойкая и уравновешенная особа, наверняка, оскорбилась бы. Я же устроена по-другому: меня не унижает отношение окружающих, каким бы хамским оно ни было. Я не умею обижаться, потому что не вижу в обидах смысла; все эти страдания гордых изнеженных натур – не для меня. Я предпочитаю не замечать, кто и как со мной обращается, и реагирую по-своему. Так я поступила и в сложившейся ситуации. Увидев одинокий рояль, невесомо парящий над паркетом в солнечных лучах, я готова была сыграть старику Баха, но после того, как он рассказал про покойную супругу и допустил возможность сравнения её со мной, я ограничилась Шуманом. И кто в итоге остался в проигрыше?

Толик заегозил, метнулся нерешительно из стороны в сторону и, наконец, пристроился возле инструмента; старик остался стоять в дверях, наклонив голову набок, как тощая оципанная курица, и сморщил нос. Рояль плохо строил, «до» малой октавы западало, но клавиши были приятны на ощупь и звонко подпрыгивали, устремляясь навстречу пальцам. Да, в нём сохранился характер, в этом старом пересохшем ящике со струнами и молоточками – ни мерзкий старик, ни кто-либо другой не сумели его вытравить.

Пока я демонстрировала исполнительские навыки, Толик осторожно, на цыпочках подошёл к старику. Почтительно нависая над хозяином квартиры вопросительным знаком, он стал шептать ему на ухо. Я уловила несколько фраз, когда доиграла последний аккорд.

– Светочка – очень исполнительная и ответственная девушка, – сыпал словами Толик, подобострастно трепеща всем телом, с улыбкой от уха до уха. – Она скрасит ваше одиночество и станет вам во всём помогать: ходить в магазин, готовить, убирать квартиру, стирать. Вы нуж-

даются в помощи, мы же рады вам её предложить. И самое главное – этот прекрасный рояль больше не будет молчать!.. Павел Львович, подумайте.

– Но я ничего не подпишу, даже не надеюсь! – завизжал в ответ старик, и писклявый голос сорвался на фальцет.

– Конечно, конечно! Павел Львович, о чём разговор? – Толик просиял и раскрыл ладони: ну, просто святой угодник-мученик с иконы, и та же смиренная благость во взоре. – Вы должны убедиться в наших добрых намерениях и искреннем желании помочь, и я вас прекрасно понимаю. Наше присутствие вас ни к чему не обязывает, мы не торопим вас с решением.

– А если я так и не решу ничего? – старик прищурился.

– Значит, не решите. Никто вас за это осуждать не станет, – смирению Толика не было предела.

Я постепенно начинала понимать. Старый хрыч так прожил свою жизнь, что на всём белом свете у него не осталось ни одного близкого человека, который захотел бы за ним ухаживать в его молчаливой одинокой старости. Оставался Толик, но тот вряд ли что-то делал без корыстного интереса. А интерес здесь определён был, если квартира целиком принадлежала этому Павлу Львовичу. Настоящие хоромы в восемь комнат с видом на Мойку и уголок Дворцовой площади – с первого раза я даже приблизительно не смогла представить себе их величину. Обидно отдавать столь жирный кусок государству. Как старику удалось завладеть огромной квартирой в центре города, можно было только догадываться. Не исключено, что он был увёртливее Толика в свои годы, а сейчас ему приходилось мериться силами с прохвостом рангом ниже, и это его явно обижало.

– Пусть приходит, – после минутной нерешительности махнул рукой старик. – Только скажи ей, чтобы надевала платья. Терпеть не могу девиц в брюках.

Толик бесконечно и с выражением небывалой признательности тряс руку старика, потом кивнул мне, показывая на дверь, и мы торопливо стали собираться.

– Значит, завтра Светлана у вас, в пять часов ровно, – Толик, похоже, боялся, что старик передумает. – Всего хорошего, Павел Львович, не смеем вас больше задерживать.

По дороге в гостиницу Толик обрисовал в общих чертах то, как он представляет себе обязанности «компаньонки» старика, ничуть не сомневаясь в том, что я соглашусь. У него даже мысли не возникло, что я могу сказать «нет»: они с Изабеллой Васильевной всё заранее обговорили и решили за меня. Я не стала его разубеждать.

Позже я узнала, что на своего Павла Львовича он вышел через сотрудницу собеса Центрального района, и это была большая удача – в случае успеха его ждал солидный куш. Квартира почти в четыреста квадратных метров в самом центре, а из жильцов и собственников – один дед, которому исполнился девяносто один год. Ради такого приза стоило постараться, а мой новый знакомый умел быть и настойчивым, и любезным.

Толик окучивал целую плантацию из квартир, принадлежащих беспомощным старичкам и старушкам. В основном, это были однокомнатные или двухкомнатные клетушки в спальных районах, пропахшие старостью, болезнями и одиночеством. Сотрудницы собеса с удовольствием делились с Толиком секретами (он умел найти к ним подход). Затем следовало заключение договора пожизненной ренты или другого похожего документа. У Толика был дар убеждения, и он умело манипулировал капризными, впавшими в маразм старичками. Несколько недель или месяцев уговоров, услужливые, но плохо говорящие по-русски помощницы, множество обещаний, заверений и расшаркиваний. Думаю, в конце концов, он всех обманывал: и помощниц, и самих стариков, и тучных дам из собеса. Договоры через подставных лиц, несуществующие фирмы-посредники и липовые справки. Старички умирали с завидным постоянством, то ли потому, что им помогали, то ли сами по себе, от старости. Я даже не уверена, что «Толик» было его настоящее имя. Например, он постоянно носил с собой два телефона с разными сим-картами и очень часто менял машины. Говорил, что взял у друга по

доверенности, но никаких друзей у него не было. Он работал в одиночку, бессловесные иностранки без регистрации и я – не в счёт. Женщины вроде Изабеллы Васильевны не догадывались о масштабах его деятельности, да и вряд ли задавались этим вопросом: каждая получала свою долю прибыли и оставалась довольна. Я тоже предпочла не вмешиваться не в своё дело. Толик неплохо мне платил и немного заботился обо мне, а на дряхлых старичков и старушек мне было наплевать: рано или поздно они бы всё равно умерли. Смерть неизбежна, и в этом её высшая и безоговорочная справедливость.

II

Старик привязался ко мне месяца через два. Привязался по-настоящему, капризно, ревниво и окончательно. Он начал со мной разговаривать, заглядывая в лицо, жаловаться и открывничать. Заваривал мне чай. Писал записочки с напоминаниями, например: «Купить сахар» или «Смазать петли на входной двери». Провожал слезящимися от радости глазами, в которых подозрение сменилось плохо скрываемым обожанием; впивался взглядом в моё декольте, ноги, бёдра, руки. Я носила платья и мягкие туфли-лодочки на невысоком каблучке, как он хотел. Ему нравилось смотреть на меня, я это видела.

Большую часть времени, когда я приходила, мы проводили у рояля. Толик по моей просьбе вызвал настройщика, а старик научился переворачивать ноты. Он сидел на небольшом табурете чуть поодаль и хрипло дышал в затылок, пока я ему играла. Стоило мне кивнуть головой, и он лихо, по-молодецки вскакивал, плевал на пальцы и с треском перелистывал страницу. Потом вновь замирал на месте, пытаясь отдышаться, и следил за каждым моим движением. Он беспрестанно пытался коснуться меня то плечом, то локтем, то коленом, но в остальном вёл себя вполне по-джентельменски и не распускал скрученные артритом трясущиеся руки.

Я навела в квартире порядок: разгребла коробки, составила всё барахло в одну из пустовавших комнат, перетрясла занавески и вытерла пыль с подоконников. У старика накопилось огромное количество хлама, но среди старых журналов и сломанных стульев нет-нет, да и попадались действительно стоящие вещи. В прихожей я, например, совершенно случайно наткнулась на картину в красивом резном багете сусального золота и нашла две иконы с позолоченными окладами. Были несколько коробок с мельхиоровыми и серебряными столовыми приборами, фарфоровый чайный сервиз, четыре фарфоровые же статуэтки как будто из Эрмитажа, несколько резных шкатулок, одна ваза из зелёного камня, помятое серебряное ведёрко (видимо, для шампанского), антикварное кожаное кресло, мутное старинное зеркало в ажурной раме с вензелями, три сундука с медными кантами и застёжками и наверняка много чего ещё. Старик рассказывал, что его мать в блокаду работала весовщицей-сдатчицей на девятом хлебозаводе и пристроила сына грузчиком-разнорабочим в продовольственный ларёк на Предтеченском рынке. Тогда было, на что выменивать хлеб, а старик, похоже, с юных лет отличался осторожностью: не жадничал, но и своего не упускал. После прорыва блокады в 1943 году он потрудился на восстановлении Невского машиностроительного завода, получил героя труда и женился на вдове фронтовика с ребёнком. В общем, старик умел неплохо устраиваться в жизни. Мне он, кстати, подарил серебряную брошь с янтарём и спичечницу с рубинами. Я взяла – не видела причин отказываться.

Толику я не стала распространяться об антикварных богатствах старика, иначе он бы окончательно потерял голову. Не без основания подозревая, что по разным углам квартиры Павла Львовича распиханы несметные сокровища, он надеялся, что со временем эти безделушки станут приятным добавлением к кругленькой сумме, которую планировалось выручить от продажи квартиры. Толик исправно посещал старика каждую неделю, справлялся о моих

успехах, расточал по сторонам слащавые улыбки и ждал. Как хамелеон, который любит менять цвет и замирать на месте, но обладает молниеносным липким языком, не знающим промаха.

Ближе к Новому году старик сломался: сказал, что подпишет договор после праздников. На подходящего нотариуса, которого предложил Толик, он не согласился, упрямо сообщил, что сам выберет нотариальную контору и пойдёт туда только со мной. Толик был вынужден согласиться, хотя не знал, к чему клонит старик, и лишь неустанно повторял:

– Павел Львович, как скажете!

Незадолго до визита к нотариусу старик подступился ко мне.

– Я подпишу! – завизжал он мне в ухо. – Только ты переедешь ко мне, такое условие.

Я усмехнулась про себя. Почему бы и нет? Старик был со мной тактичен, даже ласков, в отличие от Изабеллы Васильевны, которая к тому времени успела меня утомить всё чаще повторяющимися придирками и требованиями. Её возмущало, что моя работа у Толика так затянулась и что я перестала играть на пианино в ресторане. Она оказалась не готова отпускать меня на четыре вечера в неделю и всячески пыталась дать мне понять, что нельзя кусать руку, которая тебя кормит. Но теперь у меня появился Толик, который меня кормил, и старик, который смотрел на меня щенячьими глазами. Странное это чувство, когда кто-то от тебя зависит: как когда-то было с мамой, только старика я не боялась огорчать, потому что не играла роль образцовой дочери.

– Я скажу Толику, – ответила я. – Если он прибавит мне в зарплате, то перееду. Я за вами не по доброте душевной ухаживаю, вы же понимаете.

Старик обиженно надул губы, но не сказал ни слова. Толик поморщился, когда я передала наш разговор: идея с переездом ему явно не понравилась. Он начал что-то подозревать, тяготился отсрочкой и поминутно считал деньги, потраченные на старика (пока впустую). Но счастье было уже так близко, договор – вот-вот подписан, а старику шёл девяносто второй год. Мы поторговались немного, но всё же сошлись на цене, устроившей нас обоих. Толик уступил, потому что считал меня своим тузом в рукаве, шансом разыграть удачную комбинацию, и старался обращаться соответственно. Он даже начал ухаживать за мной: подарил коробочку духов на Новый год и чулки с кружевными резинками – на Рождество. Чулки особенно привели меня в недоумение.

Нельзя сказать, что у нас с Толиком что-то было. Скорее, наоборот. Толик не отличался разборчивостью в отношениях с женщинами. Из-за рода своей деятельности он не мог окружать себя постоянными людьми, и если появлялся с кем-то в обществе, то всегда с разными и малосимпатичными дамами неопределённого возраста: то ли с няньками его старичков, то ли с очередными сотрудницами госструктур. Я оказалась исключением, потому что задержалась надолго и была молода, и Толик не смог придумать ничего более нелепого, чем тоже привязаться ко мне. Незаметно для себя он начал со мной советоваться, и я оказалась в курсе многих его дел, а потом – полез с поцелуями. Я заметила, что мужчины время от времени испытывают потребность в женщине, которая их не любит, а жалеет и относится снисходительно. Как только в дело вступает любовь, начинаются претензии и упрёки; отсутствие любви обеспечивает понимание.

Моя неспособность любить и нежелание спорить неизменно обеспечивали мне успех. Я не умела говорить «нет». Не то, чтобы боялась обидеть – скорее, не привыкла утруждать себя отказами. Мои отношения с мужчинами были просты и бесхитростны, как «Собачий вальс», и столь же непродолжительны: я не искала повторной встречи и не записывала телефонов. С Толиком вышло иначе, потому что он был во мне заинтересован, и намного больше, чем я в нём. Как-то вечером, когда я оказалась у него в гостях, Толик подвыпил и окончательно осмелел. Он привалился ко мне, зажал между дверным косяком и холодильником на выходе из кухни и ткнул носом в шею. Я не сказала «нет». Как обычно. Все остальные разы были абсолютно одинаковыми: минут десять я смотрела в потолок, пока он устраивался и возился

на мне, потом чмокала его в переносицу и уходила в душ. Когда я возвращалась, он уже спал, тихо посапывая, а я была предоставлена сама себе. Не понимаю, почему люди придают большое значение соитию, в особенности – женщины. На подступах к своим первичным половым признакам они выстраивают такую непробиваемую оборону, как будто защищают пещеру Али-Бабы, полную золота и алмазов, и доступ к ней может получить только тот, кто знает секретное слово. Они требуют, чтобы мужчины восхищались их красотой и человеческими качествами, прежде чем допускают к своему телу. Зачем? В этом акте животной близости нет ничего возвышенного или сакрального, и то, что отличает нас друг от друга, совершенно точно находится не между ног.

В моей жизни происходило наоборот: все, кто проявлял интерес ко мне как к женщине, безотказно получали желаемое, но никто не смог пройти дальше. То, что находится дальше – только твоё, не нужно никому, никого не сделает лучше или счастливее, и поэтому не стоит это показывать.

Я переехала к старику на исходе новогодних праздников. Вещей у меня немного: сумка с одеждой и сумка с нотами – вот и все мои пожитки. В гостинице я больше не появилась, за что Иза-белла Васильевна назвала меня «неблагодарной дрянью», но я не стала по ней скучать и не жалела об уходе. С исчезновением из моей жизни Изабеллы Васильевны я реже вспоминала и о маме. В моей голове они были каким-то образом взаимосвязаны, так что мне удалось избавиться от обеих разом: и от мамы, и от её проекции в лице бывшей начальницы. Мне стало легче дышать, потому что я перестала быть кому-либо обязанной.

Утром того дня, когда мы собирались поехать к нотариусу, старик меня удивил. Он начал разговор за завтраком, не поднимая глаз от стакана с чаем:

– Я подпишу договор в твою пользу. Квартира достанется тебе.

Улыбнувшись, я представила выражение лица Толика, когда тот об этом узнает.

– Зачем вам это нужно?

– Потому что так ты не уйдёшь. Останешься со мной до конца, – выдавил старик.

Я посмотрела на него с жалостью:

– Вы, правда, так думаете?

Он не ответил. Я понимала его сомнения. Наивный старый дурак: он не смог удержать рядом с собой никого из близких ему людей огромной квартирой в центре города и думал, что сможет удержать меня – он не вызывал ничего, кроме насмешки.

Ещё больше меня развеселил растерянный взгляд Толика, когда старик огорошил его своим решением. Познакомив нас несколько месяцев назад, Толик почему-то уверился, что благодарить за столь приятное знакомство Павел Львович будет именно его, и поэтому был несказанно раздосадован, когда расположение и привязанность старика обратились в мою сторону. Никакие уговоры, любезности и сдержанные угрозы не сдвинули старика с места: он умел настоять на своём. Толику пришлось принять новые условия, и он судорожно начал прикидывать, как решить вопрос с квартирой в свою пользу.

На следующий день он пригласил меня на ужин в ресторан и, поджимая губы, уговаривал подписать то ли договор переуступки права, то ли дарственную. Бормотал о доверенности, расписках, пытался урезонить меня, объяснить, что сама я с документами не справлюсь, а он, безусловно, собирался разделить со мной деньги от продажи квартиры. Бедняга Толик: ему было так обидно, что мне захотелось немного подбодрить его.

– Я подпишу. Что-нибудь. Не волнуйся... Только не сейчас. Старик успеет десять раз передумать, в его возрасте это нормально, – спокойно ответила я на доводы Толика и попросила заказать ещё шампанского. Страсти накалялись, и от нарастающего крещендо у меня начинала потихоньку кружиться голова: впервые в жизни мне стало по-настоящему интересно, чем закончится эта незатейливая пьеска.

Толик не был идиотом. Напротив, он был неплохим психологом – в противном случае его маленький бизнес не процветал бы – и поэтому нашёл в себе силы успокоиться, перестал напирать и предпочёл не торопить события. Мы замолчали и по невысказанной договорённости некоторое время вообще не касались болезненной для Толика темы. Мы лишь стали внимательнее друг другу, как будто внезапно поняли, что сделаны из хрупкого, недолговечного и легко бьющегося материала. Наши невидимые глазу острые края могли легко зацепиться один за другой и задеть незащищённую плоть, расцарапав её в кровь. Это было новое ощущение непрерывного ожидания и пьянящего азарта, как будто мы сделали ставки в одном нам ведомой гонке, результаты которой будут объявлены с минуты на минуту.

Старик стал капризнее с тех пор, как подписал бумаги и я переехала к нему: он поминутно требовал, чтобы я что-то мыла, чистила, убирала и раскладывала. «Ведь это теперь твоя квартира», – трескучим голосом повторял он. Я перебирала шкафы; оттирала годами слежавшуюся пыль, въевшуюся грязь и копоть; драила шершавый, весь в зазубринах паркет, который оставлял занозы в моих пальцах; стирала рассыпающиеся от старости занавески, ска-терти и покрывала; перетряхивала пропахшие нафталином ковры и пальто; начищала до блеска кастрюли, сковородки и чайники, первоначальный цвет которых был едва различим. Удивительно, сколько ненужного хлама успевает накопить за свою недолгую жизнь человек. Как бы чисто я ни мыла, на следующий день пыль и штукатурка вновь ложились толстым слоем, а старик недовольно качал головой, проведя указательным пальцем по подоконникам. Он стал при-вередлив в еде и с вечера заказывал, чем бы хотел полакомиться назавтра. Наступил момент, когда я пожалела о том, что ушла из гостиницы: месяц каторжного труда меня окончательно доконал. Я предприняла попытку провести переговоры сначала с Толиком, а затем – со стари-ком.

Толик выслушал меня со сдержанной радостью.

– Я понял, что тебе не нравится. Теперь объясни, чего ты хочешь, – снисходительно ска-зал он, предвкушая победу.

Я была готова к подобному повороту событий. Толику на мгновение показалось, что он может диктовать условия, но он ошибся, поскольку я не боялась потерять квартиру, а старик ни о ком, кроме меня, и слышать не хотел. Я потребовала прислать ко мне в распоряжение одну из трудолюбивых помощниц Толика, чтобы она выполняла всю грязную работу, а также купить стиральную и посудомоечную машины, пылесос, гладильную доску и новый утюг.

– Если ты откажешься, я там не останусь, – мой тон не вызывал у Толика сомнений: он знал меня не так давно, но за это время успел понять, что я не стану бросать слова на ветер. – Старик подаст в суд и выиграет дело, потому что его договор пожизненной ренты составлен не тобой. Обращайся со мной уважительно, и ты получишь то, что хочешь. Я обе-щаю.

Толик согласился, и наши отношения пошли на поправку – мы вновь стали работать вме-сте. Девушка по имени Наири, которую он прислал, оказалась душкой: безотказная и услуж-ливая, она прекрасно готовила и делала всё быстро и незаметно, как маленькая добрая фея. Старик поверил в то, что в одиночку мне с такой большой квартирой не справиться, и не стал возражать против приходящей домработницы. Со стиральной машиной и пылесосом домаш-ние дела перестали казаться столь утомительными, единственной проблемой было то, что ста-рая проводка квартиры не выдерживала нескольких одновременно включённых электропри-боров – вылетали пробки. Счётчик с тремя рычагами находился в углу прихожей за массивной вешалкой для одежды, и подобраться туда было непросто. Вскоре мы приучились не включать больше одного чуда техники за раз: либо пылесосим, либо стираем, либо кипятим чайник.

Чем дальше, тем меньше становилось работы, и я начала чувствовать себя настоящей барышней: этакой бедной родственницей-приживалкой, которую не изматывают тяжёлым тру-дом, но которая без устали обязана развлекать самодура-барина игрой на фортепиано. Толик

оттаял, принимая посильное участие в организации нашего быта, и вновь стал мило за мной ухаживать. Мы два раза сходили в кино, один раз – в ресторан и даже съездили загород к нему на дачу погожим субботним днём где-то в начале марта. Старику не нравилось присутствие Толика, он начал ревновать и однажды не сдержался.

Дело было вечером в начале апреля, когда Наири уже ушла, сделав влажную уборку, а я сидела за роялем и играла ему ноктюрны Шопена. Все любят ноктюрны Шопена, особенно одинокие старики и падкие на слёзы женщины. Эта музыка накидывает полупрозрачную вуаль на глаза и размягчает сердце, под неё хочется говорить и делать глупости, что и случилось со стариком. Когда я закончила, он вдруг схватил меня за запястье.

– Я могу жениться на тебе, – выпалил он, повизгивая от собственной смелости. – Тогда ты совершенно точно будешь законной наследницей квартиры, и никто не сможет у тебя её отобрать! Если ты думаешь, что я на что-то намекаю, то даже не сомневайся...

Он волновался, прерывисто дышал и боялся смотреть на меня:

– Я ничего не имею в виду, просто забочусь о тебе. Не хочу, чтобы всё досталось этому проныре Анатолию. Он тебя обманет, совершенно точно обманет!

Я высвободила руку из цепких пальцев старика и, развернувшись, наклонилась к нему так, чтобы он хорошо запомнил выражение моего лица. Холодно прищурившись, я выговаривала каждое слово, а он сникал и втягивал голову в плечи.

– Не говорите глупостей, о которых пожалеете. Я не хочу, чтобы вы на мне женились. Вы думаете, что мне доставляет удовольствие убирать за вами до самой вашей смерти? Я здесь только потому, что сейчас мне некуда и незачем идти, – я до боли стиснула его колено, чтобы он окончательно понял, что я не шучу. – И больше не поднимайте эту тему, иначе я уйду на следующий же день.

К ночи у старика случился инсульт. Не дойдя до кровати, он зашатался, схватился за голову и завыл непривычно-низким для себя голосом. Когда я подбежала к нему, чтобы не дать упасть, его вырвало прямо на меня. Он захрипел, принялся хватать воздух ртом, лицо покраснело и стало подёргиваться. Я вызвала скорую, а потом сразу же позвонила Толику, который приехал раньше скорой на пятнадцать минут. Пока мы ждали врачей, старику явно становилось хуже: он уже не понимал, где находится, не мог говорить, на нас не реагировал и не двигался, лицо замерло в печальной гримасе Пьеро. Мы понимали, что он жив только по шумному неровному дыханию, которое вырывалось из-под раздувающейся, словно парус, правой щеки.

Врачи не суетились: сделали укол, уточнили возраст пациента, спросили, кем мы являемся старику и стали неспешно звонить по больницам. Минут через двадцать погрузили на носилки и увезли, предложив нам справиться о его состоянии с утра, если будет желание. Уходя, один из врачей, молодой, заросший щетиной парень со стойким запахом пота буркнул, что надеяться особо не на что. Толик уехал молча, не попрощавшись. Я видела, как он нервничает, и понимала причину его волнения. Сама я, напротив, почувствовала необыкновенное умиротворение, и в ту ночь спала как убитая, спокойным глубоким сном, без звуков и сновидений.

Состояние старика оказалось крайне тяжёлым: даже врачи в больнице выглядели несколько озадаченными, не в силах понять причину, по которой тот до сих пор не умер. Геморрагический инсульт, кровоизлияние в мозг, сопор и бог знает, что ещё. Операцию никто делать не собирался: не позволял возраст. Начался воспалительный процесс, поднялась температура, отказали лёгкие, и если бы Толик не был так настойчив, то старика вряд ли стали бы реанимировать и подключать к аппарату. В наших медицинских учреждениях не всегда благосклонны к одиноким пенсионерам, о которых некому позаботиться, но Толик сделал всё возможное, чтобы старик жил: пусть на искусственной вентиляции лёгких и целом наборе лекарственных препаратов, но жил. Я понимала, зачем ему это. Толик понимал, что я понимаю. Только ста-

рик ничего не понимал – он был похож на живой труп, хотя смерть головного мозга врачи не констатировали.

Толик не унимался, он всеми силами цеплялся за старика, но и старик не спешил покидать Толика. Никто (ни я, ни врачи) даже предположить не мог, что у перенесшего инсульт девяностолетнего пациента окажется такая воля к жизни и столь упёртый характер. Недели через две с половиной состояние старика стабилизировалось, температура перестала подниматься, давление держалось на одном уровне, хотя он по-прежнему не приходил в себя. Прогноз был неутешительным: если старик и выкарабкается каким-то чудом, то останется в «вегетативном состоянии», то есть будет неспособен есть, пить и дышать самостоятельно. Толику требовалось время, чтобы уладить дело со мной, поэтому такой вариант, за неимением лучшего, его вполне устраивал. Умри старик сейчас, он ничего не смог бы сделать.

Кто-то из больницы убедил Толика, что домашняя обстановка и квалифицированный сестринский уход дают больше шансов на выздоровление, чем нахождение в стационаре. Больные вроде старика лежат там «сверх штата», и у медицинского персонала редко когда находится на них свободное время и свободные руки. Толик последовал совету, и в течение недели привёз в квартиру подержанные, но работающие аппарат искусственной вентиляции лёгких, монитор сердечного ритма и широкую больничную кровать на колёсиках. Мне пришлось отправиться на ускоренные курсы по уходу за лежачими больными, где меня научили ставить катетер и кормить коматозников через зонд. Толик с мрачным видом наблюдал, насколько хорошо у меня получается, и в его глазах то и дело загорался недобрый огонёк. Я поняла, что у моего работодателя появился план, в успех которого он окончательно уверовал.

Перевести старика из отделения интенсивной терапии на домашний уход под мою ответственность, как настоял Толик, оказалось несложно. Все бумаги были подписаны быстро и без проволочек, что не слишком меня удивило – кому интересно расхотеть койко-место и дорогостоящую аппаратуру на больного, который вряд ли оправится от перенесённого инсульта? Пускай умирает дома, он и так надолго задержался на этом свете, пора и честь знать. Старика повезло больше других: рядом с ним оказался Толик, который очень хотел получить его квартиру. А надежда на благополучный исход оставалась. Например, приходящий доктор, с которым Толик договорился на посещения два раза в неделю, очень убедительно говорил, что при надлежащем уходе старик сможет прожить несколько лет, если не случится ничего неожиданного.

Самым неприятным было то, что Толик устроил больничную палату в комнате, где стоял рояль: поближе к инструменту. Сам старик не вызывал у меня брезгливости, он был сухой и упругий, словно огромная, в человеческий рост, резиновая кукла. Лежал себе и лежал на высокой кровати, и ежедневные манипуляции с ним удручали лишь однообразием: помыть, поменять бельё, переодеть, смазать кремом, сделать растирания, покормить, опять помыть и смазать кремом... Он был опутан трубками снизу и сверху: дышал через трубку, ел через трубку, справлял нужду через трубку, весь чистый, почти стерильный, как аптечный бинт. Пока мне помогала Наири – Толик не сразу сообразил отозвать её – было совсем нетрудно, старик не доставлял хлопот. Меня угнетало другое: мне приходилось постоянно находиться рядом с ним и играть для него на рояле.

Странно было осознавать, что я делала это без особого принуждения. Толик с доктором наперебой разглагольствовали о том, что положительные эмоции намного больше способствуют выздоровлению, чем самые дорогие медицинские препараты. Я не прислушивалась к их глупой болтовне, которая несколько меня не трогала. Я не оставляла старика ни на минуту по иной причине. Чувство обязанности, возникшее неведь откуда, связало меня по рукам и ногам так, что я была не в состоянии ему противиться. Старик словно приковал меня к себе и монотонным шипением аппарата властно распоряжался мной, не позволяя отходить ни на шаг. Я играла для него по шесть или семь часов в день, пытаюсь освободиться от гнёта ответ-

ственности, но тот, не отрываясь, смотрел на меня сквозь закрытые веки с немим укором и требовал всё больше.

Толик заметил моё состояние и надеялся, что я попрошу пощады. Я держалась. Тогда он решил оставить меня один на один со стариком и забрал Наири. Я стойко вынесла этот удар, попросив его раз в две недели, по субботам, присылать ночную сиделку, чтобы я могла выйти на улицу на пару часов, а потом спокойно поспать. Он согласился, но каждый раз приходила новая женщина, которая не имела представления об уходе за лежачими больными и мало чем могла мне помочь. Платила я им из своей зарплаты – таково было условие Толика, и я безоговорочно приняла его. Находиться постоянно вблизи безжизненного тела старика было невыносимо и выматывало до изнеможения. Я ждала каждой второй субботы как освобождения, когда я, наконец, выходила в город и оказывалась среди многоголосой толпы незнакомых мне людей, которым я ничего не должна и которые ничего не хотят от меня. Конечно, выход был: бросить всё и уехать, – но куда? Мне по-прежнему некуда и незачем было идти, я завязла в монотонном модерато своего существования, запертая в высоких стенах квартиры старика, застрявшая в глубине её коридоров, подчинённая воле игры, в которую втянул меня Толик. Нескончаемая вариация на одну и ту же тему не давала успокоиться. Выкинуть её из головы не представлялось никакой возможности, и я ждала, напряжённо прислушиваясь, финального аккорда.

Толик регулярно заезжал в квартиру: без предупреждения, без звонка или предварительной договорённости, и подолгу сидел на кухне, как будто утверждая свои права, или молчаливо слонялся из комнаты в комнату. Он заглядывал в шкафы, комоды, сундуки и удовлетворённо вертел в руках потемневшие от времени антикварные безделушки старика. Не готовый признать поражение, он старался приехать в самый неожиданный момент, чтобы застать меня врасплох и тем самым уличить в пренебрежении опекунскими обязанностями. Мне приходилось быть всё время настороже.

Так пролетело несколько месяцев, и терпению Толика пришёл конец. Я ожидала подобного исхода: он уже не раз терял самообладание раньше меня.

Как-то в пятницу вечером в конце июля, накануне очередной субботы, когда у меня намечался свободный вечер, он приехал с букетом белых лилий, этих жутких кладбищенских цветов со сладким душливым ароматом. Его выходная рубашка с разводами, напоминавшими узор голубой сырной плесени, пахла, как тогда, в гостинице, ванилью и сандаловым деревом.

– Давай завтра загород прокатимся. Проветришься, погода такая чудесная. Месяц уже безвылазно сидишь, – Толик улыбнулся одними губами. – Я за тобой с утра, часика в полвосьмого заеду, чтобы в пробке на выезде не стоять. Так что, будь готова.

– А дед как? Одного оставить? – спросила я.

– За пару-тройку часов ничего с ним не произойдёт, – Толик небрежно махнул рукой. – Ты же с ним что нужно сделаешь, – полежит, подождёт. Тебе тоже отдыхать нужно.

Его предложение несколько насторожило меня: после нашего молчаливого противостояния, затянувшегося так надолго, я не знала, каких действий можно ожидать с его стороны и на что он был способен. Я не боялась его, нет. Мне, скорее, было интересно, и поэтому в половину восьмого утра следующего дня я ждала Толика с нетерпением.

Он не опоздал, появился минута в минуту и заметно нервничал. Мы сели в его новую машину и поехали по пустынным улицам. Светофоры, казалось, очень хотели, чтобы мы поскорее покинули город, и светили нам исключительно зелёным. За всю дорогу до выезда на Таллинское шоссе Толик не сказал ни слова и не взглянул в мою сторону. Его челюсти были плотно сжаты, пальцы вцепились в руль, а в висках билась настойчивая мысль, которая не позволяла ему расслабиться. Я с любопытством наблюдала за ним краем глаза и думала о том, как бы пораньше вернуться домой после поездки, чтобы успеть провести положенный мне вечер подальше и от старика, с его трубками, и от самого Толика.

Неожиданно зазвонил мой телефон, прерывая ровное урчание двигателя. Я никого не знала в городе, кроме Толика, Изабеллы Васильевны и старика и не ждала звонка. Моё одиночество на тот момент успело приобрести характер мировоззрения: я не стремилась к новым знакомствам и не страдала от отсутствия общения; скорее, наоборот, упивалась им, испытывая дискомфорт от постоянного нахождения рядом со мной людей – ненужных и неважных, но требующих внимания. Толик прекрасно это знал, и поэтому сразу сбросил скорость и заёрзал на сидении. Я украдкой взглянула на экран: номер был неизвестный, и поэтому я попыталась сделать вид, что не могу выудить телефон из сумки, но, замолкая на мгновение, он тут же принимался звонить во второй, третий и четвёртый раз. Столь тревожная настойчивость вынудила меня ответить.

Какое-то время я не могла понять, кем была обращающаяся ко мне по имени женщина и чего она хотела. Сбивчивая речь, много слов и всхлипываний, неудержимый поток лживых, неестественных эмоций. Спустя несколько минут напряжённого вслушивания до меня начал доходить смысл: звонила моя тётя, двоюродная сестра мамы и единственная из знакомых мне родственников. В последний раз я видела её лет десять назад и вряд ли смогла бы узнать в лицо, если бы пришлось. Её срывающийся голос звучал для меня странно и незнакомо. Она то и дело называла меня «деточкой», просила не волноваться, рассказывала, что с трудом нашла мой номер телефона и постоянно приговаривала: «Горе-то какое! Горе...» Я всё поняла, но не шелохнулась, скованная новостью и инстинктом самосохранения; не изменила позы, не дрогнула ни одним мускулом на застывшем, будто натянутом лице. Отвечала односложно, только «да», «нет» и «да, конечно». Напоследок спросила: «Когда?» и долго слушала путаный, перекакивающий с одного на другое ответ.

Мама умерла. Уснула и не проснулась. Несколько дней назад, но хватились и нашли её только вчера вечером. Начальник с работы распорядился выяснить, где она, после того, как та два дня не появлялась и не отвечала на звонки. Похороны завтра, в воскресенье, тётка взяла хлопоты на себя, потому что больше у мамы никого нет. И меня не оказалось рядом. Я была здесь, в тысяче километров от неё, с Толиком и со стариком. Я не звонила ей месяц или два, и она, чувствуя моё нежелание разговаривать, перестала, в свою очередь, беспокоить меня звонками с робкими расспросами.

Сердце ухнуло в груди и провалилось в пустоту. Время замерло на несколько долей секунды, и начался его новый отсчёт. Вместе с первым ударом, резким и будоражающим, я ощутила прилив силы и уверенности, как будто невидимые нити, привязавшие меня надолго к одному месту, вдруг порвались. Лопнули, словно их не было вовсе, и я поняла, что освободилась. Мамины глаза, полные надежды и боязливого обожания, навсегда закрылись и сняли с меня груз ответственности за мою нелюбовь к ней, к музыке и ко всему, что было ей когда-то дорого. Я молча кивала в такт причитаниям тётки, после сказала: «Да, хорошо» и положила телефон обратно в сумку.

– Что случилось? – Толик переводил взгляд с дороги на меня и обратно.

– Мама заболела, попала в больницу. Говорят, воспаление лёгких, – я соврала, будучи уверенной, что так надо.

Он выдохнул, нажал на газ, и машина вновь рванула вперёд. За окном мелькали безразличные деревья и дома незнакомых людей, до которых мне не было дела.

– Поедешь? – спросил Толик.

– Наверное, надо, – я пожалала плечами, – уже лет пять не виделась.

Мы ехали около часа, но так и не достигли ещё конечной точки маршрута. Поначалу я предположила, что Толик направляется к себе на дачу – у него был небольшой дом где-то между Скачками и Красным Селом, куда он возил меня однажды, но мы пронесли мимо поворота, даже не притормозив.

Толик курил сигарету за сигаретой, хотя раньше я никогда не замечала, чтобы он этим злоупотреблял. Табачный дым метался по салону автомобиля, забирался в нос, в глаза, и от его терпкого запаха у меня начала болеть голова. Я, как домашняя девочка, день и ночь сидящая за фортепиано, никогда не пробовала курить, не пряталась от мамы и учителей, зажёвывая никотин ёлочными иголками и кофейными зёрнами, как делали другие девочки в классе. Мое враньё не было примитивной детской тайной, которую нельзя рассказывать взрослым из опасения навлечь на себя их гнев с последующим наказанием – оно было открытым, явным и заставляло меня скорее гордиться им, чем стыдиться его. Послушная любящая дочь, прилежная ученица, преданный работник, верная подруга – кого ещё мне нужно было изобразить, чтобы они поняли, что я вру? Я ждала, что кто-нибудь догадается, но мой обман ни разу не раскрылся, и я убедилась в собственной безнаказанности.

У Толика явно была определённая цель, он точно знал, в какое место ему нужно попасть, и я начала подозревать, что нам предстоит нелёгкий разговор. Возможно, он станет вновь меня уговаривать или даже угрожать мне. Он гнал машину на бешеной скорости, как будто боялся не успеть, растряссти по дороге свою решимость и силу убеждения. Наверное, мне стоило испугаться. Я понятия не имела, кто на самом деле этот человек, как его фамилия и на что он способен, но мне по-прежнему не было страшно. Теперь я была готова ко всему. Я почувствовала уже знакомую щекочущую дрожь в кончиках пальцев, которая возникает от предвкушения чего-то нового и неизвестного. Мелодия скучной вариации последних месяцев, наконец, оживилась и обещала перемены – хотя бы тональности. Это была долгая дорога – странная, тревожная, но приятная.

Ещё один молчаливый час по шоссе под убаюкивающее ворчание мотора, час – по грунтовой дороге так быстро, как позволяли колдобины и ухабы; потом по узкой лесной просеке, сжатой с обеих сторон плотными рядами деревьев. Было видно, что по ней когда-то ездили машины, но не часто – колея была с трудом различимой. Солнце пробивалось через верхушки елей и берёз, мелькало полосатой тенью; воздух стал другой, влажный и тягучий, и я приоткрыла окно, чтобы впустить немного свежести в прокуренную машину. Просека не совсем просохла после недавнего дождя, и машина то и дело взвизгивала, поскользываясь в лужах густой липкой жижи. В одном месте лесная колея показалась мне совершенно непроходимой: так резко и глубоко вниз нырнул автомобиль. Толик весь побелел – он испугался, что мы застрянем. Глядя на его расстроенное лицо, я решила немного подбодрить своего спутника и задала вопрос, которого он, наверняка, ждал, и нервничал от того, что я его ни о чём не спрашивала:

– Куда мы едем? Это какое-то особое место в лесу?

Машина благополучно выбралась из грязи и поехала дальше.

– Тут дача одного моего товарища, – заторопился Толик, – если ехать по дороге. А здесь – не знаю что. Просто захотелось посмотреть.

Я не возражала, времени у нас было предостаточно.

Через несколько минут просека вывела нас на широкую лужайку между деревьями, и мы упёрлись в покосившиеся от времени железные ворота. Сквозь ржавчину и тёмные пятна проглядывали очертания нарисованной на них ракеты. От ворот в обе стороны отходил железный решётчатый забор, когда-то синий, а теперь коричневый, с бледными пятнами краски в отдельных местах. За забором, в глубине леса, виднелись силуэты невысоких построек, давно покинутых людьми. Состарившийся флагшток стоял, ссутулившись, голый и пытался дотянуться до верхушек деревьев.

– Это что? Пионерский лагерь? – спросила я.

– Наверное. Пойдём посмотрим?

Толик, прихватив с заднего сидения папку для бумаг, выскочил из машины так поспешно, что зацепился ногой за порог и чуть не упал. Он выругался сквозь зубы и в сердцах хлопнул дверью, но тут же натянуто улыбнулся мне, пытаясь сгладить неловкость.

Ворота оказались незапертыми, одна из створок была приоткрыта, и мы спокойно вошли внутрь. Никто не остановил нас и не окликнул: будка сторожа пустовала и, похоже, давно; лагерь был заброшен и никем не охранялся. Пока мы ехали, я не встретила ни одного указателя, людей тоже не было видно: ни дачников, ни туристов, ни местных жителей. Вокруг – ни души, слышен лишь шелест деревьев и тихое щебетанье птиц. Мы пошли вперёд на некотором расстоянии друг от друга, не оглядываясь, и заросшая травой тропинка вывела нас к большому двухэтажному зданию. По всей видимости, это был главный жилой корпус, и он неплохо сохранился: стёкла выбиты лишь в нескольких окнах, входные двери плотно заколочены, стены фасада слегка облупились, но не разрушились. На торце здания красовалась мозаика с изображением солнечной системы и летящего спутника: вид на Солнце и другие планеты открывался с Земли. Наполовину съеденные дождём и ветром изображения космических тел напоминали червивые огрызки яблок.

Я заглянула в окно одной из спален. Внутри было пусто и даже опрятно: ни груд мусора, ни беспорядка, только аккуратная мёртвая пустота, и несколько сломанных железных кроватей, сгрудившихся в дальнем углу. Морозный холодок пробежал у меня между лопаток, и я поёжилась. В этом брошенном здании чувствовалось нечто зловещее: некогда полное детского крика и гама, живое и многоголосое, с разноцветными занавесками на окнах, теперь оно молча вглядывалось пустыми глазницами вдаль и ждало своего часа, чтобы впустить внутрь кого-то, кого оно не захочет выпустить обратно. Нет, оно не умерло, а лишь затаилось.

– Пойдём отсюда, здесь ничего интересного, – Толик дёрнул меня за рукав, и я, очнувшись от минутной задумчивости, послушно отправилась вслед за ним.

Пройдя по тропинке в лес метров триста, мы упёрлись в приземистый дом с высокими витринными окнами, закрытыми вместо стёкол вздувшимися листами фанеры. Двери были распахнуты настежь, словно пасть поверженного чудовища; они манили войти, обещая оглушить долгожданных гостей тишиной и сыростью. Я замерла на пороге, с опаской всматриваясь в теряющуюся в сумраке утробу здания, но Толик настойчиво потянул меня внутрь.

Я сразу поняла, что это была столовая, где много лет назад четыре раза в день дружно шевелили челюстями пятьсот маленьких человеческих тел в пионерских галстуках. Признаки разложения и упадка проявились здесь заметнее, чем в жилом корпусе, и пожелтевшие стены с каждым нашим шагом подступали всё ближе, пытаясь вселить страх и уныние. Под ногами тихо хрустели щепки, штукатурка и осколки стекла, словно мы ступали по хрупким и ломким от времени человеческим останкам; звук наших шагов отдавался в высоких потолках, вкрадчивым шорохом сползал по стенам вниз и вновь ложился нам под ноги.

– Ты когда-нибудь ездила в пионерский лагерь? – вдруг поинтересовался Толик.

Я отрицательно покачала головой. На излёте советской эпохи, когда мне было лет десять, а мама легла в больницу на операцию, меня отправили на одну смену в лагерь под названием «Солнышко». Я вернулась обратно в город с бронхитом, вшами и стойким отвращением к большому скоплению людей. Я мало что помню из той поездки, если не считать привкуса зубной пасты на губах после первой ночи, называвшейся «посвящением», подъёма в семь утра под одну и ту же мелодию горниста, который безбожно фальшивил, и душевых со скользкими, покрытыми слизью деревянными настилами. Так что, нет, можно сказать, я не ездила в пионерский лагерь, а Толику знать про бронхит, вшей и зубную пасту было совершенно не обязательно.

Мы прошли большой холл с прохладным бетонным полом, осторожно ступая и прислушиваясь к хрусту под ногами, и оказались в обеденном зале. В дальнем углу, карабкаясь друг на друга, колченогой пирамидой возвышалось несколько столов; стулья из голубого пластика валялись рядом: часть из них – без ножек, остальные – треснутые посередине. Мебель получше, скорее всего, увезли, когда закрывали лагерь. Огромная комната была перегородена стеной с массивным прилавком и двумя проёмами: за одним когда-то стояли поварихи и раздавали

тарелки с супами и котлетами, за другим – посудомойки, сгребавшие с подносов грязную посуду. Дверь на кухню была приоткрыта.

Толик поманил меня за собой и подошёл к прямоугольной плите, расположенной по центру кухни; я, задержавшись ненадолго у покрытых серой пылью прилавков, последовала за ним. Он положил папку, телефон и ключи от машины, прислонился задом к краю плиты и замер, словно собираясь с силами, перед тем как сообщить мне нечто важное.

– Хорошее место, чтобы спрятать труп, – усмехнулся он, похлопав ладонью по шершавой чугунной поверхности. Его голос звучал необыкновенно серьёзно, глаза не улыбались и не бегали из стороны в сторону. – Можно снять крышку и затолкать тело внутрь. Никто никогда не найдёт, а если и найдёт, то убежит в страхе и постарается забыть, что видел.

Я не стала спрашивать, чей труп он собрался прятать, лишь молча ждала и старалась на него не смотреть. Без лишних вопросов было понятно, что его слова обращены ко мне и имели целью вселить в меня страх, который сделает своё дело и качнёт чашу весов в пользу Толика. На его лице застыло выражение вымученной решимости. Я видела, что он был на грани, но в нём не хватало чего-то главного и окончательного, не оставлявшего сомнений.

– А ты ведь, Светик, та ещё стерва, – медленно продолжил он, тоже избегая встречаться со мной взглядом. – Ты молчишь, никогда не возражаешь, на всё согласна... Я как-то не сразу понял. Думал, девочка-одуванчик, музыку играет, деньгами особо не интересуется, а ты вон как замахнулась на дедово наследство. Уже решила, на что потратишь?

Я не ответила, да Толик и не ждал ответа.

– Молодец, ничего не скажешь. Как там говорится? Кроткие унаследуют землю? Но ты, моя дорогая, совсем не кроткая. Ты – хищница с когтями и клыками, только улыбаешься мало, вот твоих клыков и не видно. Далеко пойдёшь, если милиционер не остановит.

Я сразу вспомнила Изабеллу Васильевну с её безоговорочной верой в моё блестящее будущее. Она тоже считала, что я «далеко пойду», но Толик понял, что останавливаться на прогнозах бессмысленно и намерился подкорректировать вектор моего движения. Он выпрямился, потянулся, как будто хотел зевнуть, и положил правую руку на пояс, нащупывая что-то на ремне под удлинённым жилетом прямого покроя. Этот жилет я заметила ещё с утра (настолько он выбивался из привычной манеры Толика одеваться), но в тот момент я окончательно поняла, что надел он его неспроста.

– Подпишешь дарственную на квартиру или нет? – глаза Толика впелись в меня как иголки, он весь подался вперёд и приблизил своё лицо к моему.

Я отрицательно покачала головой. Дело было даже не в квартире, поскольку тогда я ещё не успела построить на неё определённых планов и не думала о том, что сделаю, когда старик умрёт. Так складывались обстоятельства, всё происходило в свою очередь и в своё время, как по нотам, и какими композиторскими способностями обладал Толик, чтобы вмешиваться в гармоничное звучание моей мелодии? Это я задавала темп и определяла репертуар, а Толик был ничтожной бездарностью без слуха и малейшего музыкального чутья, который считал, что одни и те же приемы хороши для всех пьес без разбора. Он, как маленький ребёнок, плюхал пухлыми пальчиками по клавиатуре то здесь то там, не понимая, что в стройном ризолотоб моих аккордов его уже почти не слышно.

Толик выхватил пистолет нелепо и неумело, совсем не так, как в кино, запутавшись рукой в полах жилета. Его оружие тоже показалось мне смешным: светло-серого цвета, будто сделанное из пластика, оно напоминало детскую игрушку и совсем не внушало страха. Я на всякий случай подняла руки и немного попятилась, удивлённо, а не испуганно приподняв брови, как бы ожидая подтверждения его действиям. Толик, казалось, только этого и ждал. Моё недоверие подстегнуло его, он приподнял плечи, напрягся и с угрожающим видом пошёл в мою сторону. Так мы двигались некоторое время, осторожно нащупывая ногами пол и не отрывая друг от друга взгляда, я – пятясь назад, он – медленно наступая, пока я не уткнулась спиной в холодную

гладкую стену. Быстро осмотревшись, я поняла, что мы оказались в небольшой прямоугольной комнате два на три метра, стены которой обиты стальными пластинами с вмятинами от заклёпок, совсем не похожими на стены остальной части кухни с облупившейся кафельной плиткой. Пол в комнате был металлическим и скользким, он прогибался под ногами с гулким утробным звуком, а затем мне в ноздри ударил терпкий сладковатый запах гнивающей свежести, какой стоит иногда в старых холодильниках.

Толик перекинул пистолет в левую руку и поднёс его к моему лицу.

– Такая маленькая и такая бесстрашная, – зашептал он, брызгая слюной. – Ты совсем не боишься? Нет?.. А надо бы.

Его правая рука скользнула по моему плечу и оказалась на шее. Он сдавил мне горло, сначала – несмело, словно примериваясь, а потом, обретя уверенность, намного сильнее. Через несколько секунд я почувствовала тупую давящую боль, его пальцы впивались мне в гортань, и я стала судорожно хватать ртом воздух. Руки инстинктивно взметнулись вверх и вцепились в его предплечья, но я старалась не сопротивляться, сообразив, что это только раззадорит моего потенциального убийцу. Я зажмурилась и сжалась в комок, чтобы не поддаться панике. Не просить, не дёргаться и не пытаться вырваться – что-то внутри меня безошибочно подсказывало, что так ему будет намного сложнее завершить задуманное. Когда из горла стали вырываться сдавленные сиплые звуки, глаза широко открылись сами собой, вытарщенные, готовые выскочить из орбит, и встретились с глазами Толика. Этого оказалось достаточно. В его глазах я увидела страх и нерешительность. Он сомневался. Мои колени начали предательски дрожать, но я вспомнила сцену из старого фильма, в которой человек душил другого человека, без слов и прощальных фраз, без фоновой музыки, потев от усилий, с хрипом и сопеньем, как будто сам умирал от удушья. Лицо Толика покраснело и искажилось от напряжения, но в нём не было той отчаянной решимости, которую я ожидала увидеть и которая могла бы меня ужаснуть. Забавно, но именно тогда, теряя сознание и ориентацию в пространстве, я поняла, что не умру в этой странной комнате с гладкими стенами.

Так и случилось. Когда от удушья выступили слёзы и окружающие предметы заволокло молочной пеленой, когда панический страх начал подниматься во мне медленной волной высоко-высоко, застревая в распухшем языке, он вдруг отпустил меня.

– Вот что ты за человек, Светка! Надо было до такого довести!

Его слова донеслись до меня словно из-под слоя ваты. Толик обмяк, сразу сделался меньше ростом, опёрся обеими руками о стену и уткнулся лицом мне в плечо. Я оттолкнула его; нырнув вниз, проскользнула под его рукой и метнулась к выходу из комнаты, тогда как Толик остался стоять на месте. Задержавшись в проходе, я повернулась к нему лицом. К этому моменту он тоже обернулся. Подавшись всем телом, он попробовал сделать шаг в мою сторону, но я властно вытянула вперёд руку и замотала головой.

– Не смотри на меня так, – его лицо искажилось виноватой гримасой; мне даже показалось, что он сейчас заплачет. – Я не хотел, ты меня вынудила. Смотри, пистолет ненастоящий. Откуда у меня настоящий пистолет?

Он вертел серую безделушку на протянутых ладонях, доказывая правоту своих слов, но я продолжала трясти головой из стороны в сторону, отгораживаясь от него правой рукой, а левой – держась за горло. Когда я заговорила, то не узнала собственный голос: так резко и дико он звучал, хриплый, сдавленный и страшный в своём беззвучии.

– Стой на месте... Не подходи ко мне!

Слова прозвучали очень убедительно, и Толик безоговорочно подчинился. Я едва стояла на ногах, которые тряслись мелкой дрожью, но он этого не заметил. Он смотрел на меня, словно побитый щенок, бровки поднялись домиком к середине лба, руки повисли и безвольно болтались вдоль тела. Он был жалок, но не вызывал сочувствия: сполз вниз по стене и закрыл лицо руками, бросив пистолет под ноги. Я изучающе смотрела на него с порога.

Тяжёлая дверь, хрустнув, подалась сразу и закрылась легко, как по маслу. Последнее, что я увидела в сгущающемся мраке комнаты, было белое, полное ужаса лицо Толика, которое стремительно приближалось ко мне. Он не успел: только ногти скребанули по металлу. Не помню, когда мне пришла в голову мысль так сделать, не знаю, как я поняла, что эта странная комната со стальными стенами была когда-то холодильником, в котором хранились мясные туши. Я хотела бы думать, что заметила массивную железную дверь без ручки изнутри, когда Толик душил меня. Возможно, так оно и было: я хорошо умею читать с листа, мне не нужно ничего додумывать. Дверь захлопнулась звонким двойным щелчком, словно поставила жирную точку в затянувшемся разговоре. Я ничего не сказала Толику на прощанье, не выкрикивала ругательств и не язвила по поводу того, что настал мой черёд, – я просто закрыла дверь. Не сомневалась. Толик мешал, и Толик должен был уйти. Мне стало неприятно его присутствие.

Он отчаянно колотил в дверь и, кажется, умолял его выпустить, но стук отдавался глухим эхом внутри стальной комнаты, перебивая голос и не давая разобрать слова. Затем послышался хлопок, как будто от новогодней петарды, взрывающейся в воздух, за ним – другой. Выходит, пистолет был настоящим, и Толик попросту неуклюже врал, пытаясь заслужить прощение. Я не стала прислушиваться. Здание захлопнуло хищные челюсти, проглотило Толика, не поморщившись, и обещало никому не рассказывать наш секрет. Выберется он или нет, меня не волновало – это уже было не мне решать. Прихватив папку, телефон и ключи, я не стала задерживаться.

Пора было возвращаться в город, и я недолго колебалась, ехать ли мне на машине или идти до шоссе пешком: чёрный автомобиль Толика подмигнул мне, когда я нажала кнопку сигнализации. Не имея опыта вождения, я не сразу разобралась, что к чему, но Толик любил хорошие дорогие машины с комфортным кожаным салоном и автоматической коробкой передач, послушные и доброжелательные к водителю, каким бы неумелым тот ни был. Я ехала спокойно и неторопливо, на минимальной скорости, попутно выглядывая место, где бросить машину так, чтобы она не слишком бросалась в глаза с дороги, а мне не пришлось бы долго идти пешком. Сначала я решила доехать до дачи Толика, чтобы оставить машину там, но потом махнула рукой на излишние предосторожности: они мне были ни к чему.

Километра за четыре до поворота я заметила неглубокую лесную колею, на которую и свернула. По радио вдруг заиграла «Песня Сольвейг» Грига. История вечной и преданной любви к тому, кто ушёл и никогда не вернётся, – это было так мило и так кстати, что я невольно улыбнулась. Тут же показался просвет между деревьями, куда, как в гараж, я пристроила «Лексус» Толика, оставив ключи в зажигании. Пока играла музыка, я успела протереть руль, торпеду и дверные ручки. Папку с бумагами я забрала с собой, потому что в них фигурировала моя фамилия. Был ровно час дня, когда я вышла из машины и отправилась дальше пешком.

Через полтора часа я села на автобус до города, который подошёл, как только я поравнялась с остановкой, и около пяти вечера, перегнувшись через парапет набережной реки Мойки, я выбросила в воду последнее, что осталось у меня от Толика – его телефон. Тёмная вода, с тихим всплеском принявшая нежеланный и ненужный дар, на мгновение заморозила меня. Не шевелясь, я вглядывалась в покрытую рябью стальную поверхность, пытаюсь разглядеть то, что скрывается под ней, когда женский голос окликнул меня по имени:

– Светочка, вы ли это? Я сначала не узнала, а потом смотрю – определённо вы!

Передо мною стояла преподавательница из консерватории, милая наивная женщина, которая так долго убеждала меня не бросать музыкальную карьеру. Я постаралась приветливо улыбнуться и подтвердила, что да, конечно, это я, кто же ещё? Преподавательница была явно настроена поболтать и узнать побольше о моей судьбе после того, как я ушла из консерватории, но я совершенно не чувствовала потребности откровенничать с ней.

– Вы знаете, я не жалею. У меня прекрасная семья, любящий муж, который очень неплохо зарабатывает, и мне не нужно работать, – не моргнув глазом соврала я.

Преподавательница удивилась, стала говорить о том, что для человека, и для женщины в особенности, работа не сводится к деньгам, а это, скорее, вопрос призвания, и зарывать талант в землю – преступление, но я прервала её словоизлияния:

– Я сегодня уезжаю, поэтому мне сейчас не до призвания, понимаете?

– Уезжаете? Надолго? – удивилась она.

– Навсегда, – ответила я и почувствовала, что именно так и произойдёт. Пускай не сегодня, но очень и очень скоро.

Коротко попрощавшись, я оставила её стоять в недоумении у парапета набережной, а сама поспешила в квартиру, на встречу к старику, который пролежал весь день в одиночестве, опутанный трубками и исколотый катетерами. Не раздеваясь и даже не снимая обуви, я быстро убрала за ним, покормила, передела, перестелила бельё и отнесла грязные простыни в стиральную машину, которая за неделю набралась полная, как раз на большую стирку.

Поезд до города, где умерла мама, уходил вечером, в двадцать пятьдесят. Сменщица, как и положено каждую вторую субботу вечером, должна была прийти около семи, так что у меня оставалось немного времени, чтобы собрать в дорогу вещи и переодеться. Я взяла только самое необходимое, потому что задерживаться надолго после похорон не собиралась. Билет я не купила, но почему-то меня не оставляла уверенность в том, что он обязательно дождётся меня в железнодорожной кассе и что перед отправлением я заберу последнее оставшееся место на верхней боковой плацкартной полке около туалета.

С упакованной сумкой, полностью одетая, я села подле старика. Он лежал неподвижно, только грудная клетка мерно вздымалась вверх и вниз, выдавая едва теплящуюся в нём жизнь. Я не испытывала по отношению к старику ни злобы, ни неприязни. Он не был добрым мудрым дедушкой, окружённым любящими детьми и обожающими внуками, а всю жизнь занимался тем, что сживал со света соседей и прикарманивал чужое добро. Жена давно умерла, сын, кажется, тоже, старик никому не был нужен. Он, как паук в паутине, много лет просидел в своих хоромах, которые получил благодаря хитрости и жадности, и чего-то ждал. Он не был хорошим человеком и вряд ли прожил достойную жизнь, но кто я такая, чтобы судить его? Если измерять степень достойности жизни по количеству родственников и знакомых, которые станут хныкать на твоих похоронах, то ни я, ни он, ни Толик, ни даже Изабелла Васильевна с её молодыми любовниками не получим главный приз. Моя мама его тоже не получит, хотя всю жизнь жила ради дочери, отдавая себя без остатка. Она умерла в одиночестве и забвении, её тело пролежало два долгих дня на кровати в нашей крошечной квартире, никому не нужное и холодное, прежде чем его нашли. Она, наверное, была хорошим человеком, но это ничего не изменило. Кому нужны глупые жертвы, если в итоге ни одному из нас не достанется желаемое? Мы даже не знаем точно, чего хотим. Может быть, не стоит и стараться ради капельки чужого тепла, раз оно всё равно не принесёт счастья?



Я села за рояль: решила попрощаться со стариком как следует. Он не сделал мне ничего плохого, даже наоборот, облагодетельствовал, да и настроение у меня было подходящее. Я, наконец, поняла, чего хочу – будущее перестало быть туманным и превратилось в настоящее. Первый раз в жизни у меня всё складывалось не так, как на репетиции, где не возбраняется переигрывать с начала бесчётное количество раз, а как на единственном и последнем экзамене, который не предоставляет права на ошибку. Так, как должно было, и так, как хотелось именно мне, и иного пути я не видела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.